

ницы позволительной идеализации, Горький, вероятно, не остановился бы перед этим, так как он целиком стоит на стороне допустимости идеализации в реалистическом искусстве, но такая идеализация Ильи была бы уже чистым романтизмом.

Снова и снова Горький возвращается к идее о необходимости идеала для беллетриста. «Причина современного шатания мысли, — говорит он в «Ошибке», — в оскудении идеализма. Те, что изгнали из жизни весь романтизм, раздели нас донага; вот отчего мы стали друг к другу сухи, друг другу гадки» (I, 151). Позже в «Читателе» (1898) он вполне развертывает свое художественное вероисповедание. Он рассказывает, как одно из его ранних произведений было, по напечатании, прочтено в кружке друзей. Он получил за него много похвал и, простясь с друзьями, шел по пустынной улице, чувствуя в первый раз в своей жизни счастье; но в это время человек, незнакомый ему и которого он не заметил в кружке слушателей, нагоняет его и начинает говорить ему об обязанностях автора.

«Вы согласитесь со мной, — говорит незнакомец, — если я скажу, что цель литературы — помогать человеку понимать себя самого, поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с дурным в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтобы люди стали благородно-сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты» (III, 241—242).

«Мы, кажется, снова хотим грез, красивых вымыслов, мечты и странностей, ибо жизнь, созданная нами, бедна красками, тускла, скучна!.. Попробуем, быть может, вымысел и воображение помогут человеку подняться ненадолго над землей и снова высмотреть на ней свое место, потерянное им!» (245).

Но далее Горький делает признание, которое, может быть, объясняет, почему он не мог создать более обширного романа, с полным развитием характеров. «Я открыл в себе, — говорит он — немало добрых чувств и желаний, немало того, что обыкновенно называют хорошим, но чувства, объединяющего все это, стройной и ясной мысли, охватывающей все явления жизни, я не нашел в себе» (III, 247). Читая это признание, тотчас вспоминаешь о Тургеневе, который видел в подобной «свободе», в подобном объединенном понимании мира и жизни первое условие для того, чтобы сделаться крупным художником.

«Можешь ли ты, — продолжает спрашивать Читатель, — создать для людей хотя бы маленький, возвышающий душу обман? Нет!.. Все вы, учителя наших дней, гораздо больше отнимаете у людей, чем даете им, ибо вы все только о недостатках говорите, только их видите. Но в человеке должны быть и достоинства; ведь в вас они есть? А вы, чем вы отличаетесь от дюжинных, серых людей, которых изображаете так жестоко и придирчиво, считая себя проповедниками, обличителями пороков, ради торжества добродетели? Но замечаете ли вы, что добродетели и пороки вашими усилиями определить их только спутаны, как два клубка ниток, черных и белых, которые от близости стали серыми, восприняв друг от друга часть первоначальной окраски? И едва ли Бог послал вас на землю... Он выбрал бы более сильных, чем вы. Он зажег бы сердца их огнем страстной любви к жизни, к истине, к людям...» (стр. 249).

«Все будни, будни, будничные люди, будничные мысли, события, — продолжает безжалостный Читатель, — когда же будут говорить о духе смятенном и о необходимости возрождения духа? Где же призыв к творчеству жизни, где уроки мужества, где добрые слова, окрыляющие душу?» (250).

«Ибо, сознайся! — ты не умеешь изображать так, чтоб твоя картина жизни вызывала в человеке мстительный стыд и жгучее желание создать иные формы бытия... Можешь ли ты ускорить биение пульса жизни, можешь ли ты вдохнуть в нее энергию, как это делали другие?» (251).

«Я вижу вокруг себя много умных людей, но мало среди них людей благородных, да и те, которые есть, разбиты и больны душой. И почему-то всегда так наблюдаю я: чем лучше человек, чем чище и честнее душа его, тем меньше в нем энергии, тем болезненнее он, и тяжело ему жить... Но как ни много в них тоски о лучшем, в них нет сил для создания его» (251).

«И еще, — снова заговорил мой странный собеседник, — можешь ли ты возбудить в человеке жизнерадостный смех, очищающий душу? Посмотри, ведь люди совершенно разучились хорошо смеяться!» (251).

«Не в счастье смысл жизни, и довольством собой не будет удовлетворен человек — он все-таки выше этого. Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель» (254).

«Гнев, ненависть, мужество, стыд, отвращение и, наконец, злое отчаяние — вот рычаги, которыми можно разрушить все на земле». «Но что вы можете сделать для возбуждения в нем жажды